

ДАВЛЕЙ

Рассказ

Давлей Агапов, пятидесятилетний голубоглазый татарин, сидел в кабинете директора заготзерна, разглядывал свои старые подшитые валенки. Они были изрядно стоптаны, запачканы глиной, припорошенной трухой и оставили на крашеном полу кабинета мокрые следы, которые, подсыхая, превращались в белые пятна. Давлей смотрел на эти пятна, и ему становилось неловко за них, за свой приход, за то, что Александр Кузьмич нарочно копается в бумажках, делая занятой вид, не хочет понять своего рабочего и соседа. А у Давлея просьба большая, да только не собирается понимать его директор.

— Кузьмич, увольняй ты меня. А? Свадьба у Батыра. От ты какой упрямый человек!..

— Пиши заявление, Давлей. Три дня без содержания дадим. Успеешь нагуляться.

— Какой тут шайтан нагуляешься! Баран кушать не успеешь. А мы быка резать будим, гулять долго будим, Батыр женить будим.

— Иди, Давлей, не мешай работать. После обеда в район вызывают. Сказал, не уволю...

«Какой худой человек стал. Прямо никудышный человек, — сердится Давлей.— Когда-то вместе дрова пилили, сено косили, водку пили, а теперь?»

— Такая семьяца, а ты увольняешься, чудак-человек. Пацанов по миру пустить хочешь?

— Пацаны обуты, одеты. Картошка погреб есть, да. Бык зарежем на зиму. Да? Дрова полный сарай. Конец концов Ислям—булку, Батыр— булку. Какой еще жизнь надо? Я живу, как царь. Увольняй, пожалыста, Кузьмич!..

— Ну, пиши на неделю заявление, гуляй себе вволю,— директор одергивает суконный зеленый китель, достает из кармана платок, сморкается, что-то пишет красным карандашом на листе бумаги, незаметно косится на посетителя.

А Давлей мнет шапку и смотрит по сторонам. В окно видит, как дымит

перевозная сушилка, как плотники кроют крышу третьего склада, как по двору идет машина Марата, его племянника, лучшего эlevatorского шофера.

«Шибко худым человеком стал Кузьмич,— думает о своем Давлей.— Да разве это та семья, когда на десять человек носили одни пимы?»

Большая семья у Давлея. И тогда, в первые годы после войны, когда в казенном доме у конюшни потолок оттягивали сразу две зыбки, Давлей редко помнил, сколько у него детей. «Много малаек-то у тебя?— спрашивал Кузьмич, тогда еще заготзерновский технорук. — Ислям, Борька, Мишка, Шакир...» Сбивался со счета технорук, и Давлей начинал сам, попеременно загибая пальцы: «Ау, икау, исяу, Шамиль, Сонька, Халима... Как повашему — десять будет?»

Давлей тут же забывал счет — не до него было. Одолевала одна забота: достать пацанам хлеба.

«Было время,— вспоминает Давлей,— Кузьмич помогал, деньги давал, лошадей разрешал брать: кому дров, кому сена подвезти. Якши был Кузьмич».

А директор перебивает мысли посетителя, говорит:

— Пиши заявление, Давлей, и уходи. Отчет мне готовить надо.

— Вот, Кузьмич, давай пиши,— Давлей глядит на директора и тут же отводит в сторону голубые глаза, а рука, протянутая с бумажкой, повисает в воздухе.

— Ты чего суешь. Ты какое заявление суешь? Тебе сказано, мне некогда. Через час еду в район, а еще и поесть надо. Иди — гуляй. Никаких увольнений. Сдашь конюшню 'Яровенко. Пошли, пошли, двенадцать уже.

Давлей нехотя вышел из конторы, на конюшню он вернулся не в духе. Накричал на любимого жеребца Сокола, держакон вил ткнул ленивого Рыжика. Выиграла обида на мерина, и Давлею, редко подымавшему руку на коня, захотелось задать ему такую трепку, чтобы все знали, каким злым бывает эlevatorский конюх.

Целую ночь гулял Давлей, всю ночь и следующий день летал туда-сюда по селу на запряженном в кошеву Соколе — непокорном, гордом жеребце, любимце Кузьмича.

— Как ты обращаешься с конем?!— накричал директор на Давлея.

— А кто приучил его, ты, да? Тибя он на вожжах таскал по земля, да?— прищутив один глаз, наступал конюх.

— Завтра же уволю тебя к чертовой матери!

Конюх ударил директора в ухо, тот отшатнулся. Ударил Давлей не так, как бил когда-то, а бить он умел: быка мог сбить с ног.

Кузьмич, хотя и с животиком, но поздоровее Давлея, да махнул рукой: начальству нельзя драками заниматься.

С похмелья Давлей чуть свет пришел к директору, несмело постучал, у порога снял сапоги:

— Ты не сердись, Кузьмич, что колотмашка вчера давал. Шайтан вот тут сидел,— ткнул себя в грудь кулаком.— У меня малайки шибко маленький: Шамиль, Галька, Шакир... На ноги надо ставить...

Ярился директор, но остыл и простил из-за маленьких детей. Он всех их знал. Иногда под вечер заходил в гости. Феня, как на селе звали жену Давлея Ханифу, пожилая скуластая татарка, подавала в чашках густой татарский чай, забеленный топленым молоком. Когда была богата, доставала из сундучка пиленый сахар, спрятанный от детворы.

Хозяин, когда бывал дома, разводил соседям пилу или подшивал кому-нибудь из ребятишек обувь, тачал тапки.

— Шью сапог буднишний, получается празднишний,— хвастался он перед гостем, хотя за всю жизнь порядочного товара и в глаза не видал.

— Давай дров, Давлей,— просит его Феня.— Как, Кузьмич, нынче хлеб?— спросит директора.

— Растет, поднимается,— ответит тот.

— Ты бы Давлею побольше маламала деньга давал, семья кушать много

надо.

— Рад бы душой, да не своими плачу — казенными.

Выпив с хозяйкой три-четыре чашки чаю и увидев на нарах баян, Кузьмич заводит речь о музыке:

— Хорошо нынче ребята на гармониях играют. Прямо диву даешься.

— Как же,— подхватывает Давлей с затаенной гордостью. Он достает пачку «Байкала» или осьмушку махорки и, если Кузьмич не угостит «Беломором», крутит самокрутку, подвигается к очагу, глубоко затягивается, пока около рта, словно около газового сопла, не начинает винтом крутиться дым. Он возвращается медленно и недолго, будто половина его остается в Давлеевых легких.

— Михаил все еще из баянистов не выходит?

— Он-то, Мишка-то, дворце металлургов играет.

— А как Ислям?

— Дом построил в Аджатарово, нащальником стал. Хромку купил. С Розой ха-ра-шо живут.

— А Борис где?

— Батыр Челябинске,— вступает в разговор жена, — инженером на заводе.

— Наверно, денег много зарабатывает и тебе помогает?

— Две сотни зашибаит. В воскресенье за картошкой приезжал, дак на электричку последние деньги у матери забрал.

— Плясал он здорово,— вспоминает директор.

— А ще ему, пляши да пляши, какое горе? Ильяс вон с Рабигой разошелся— другую взял.

— А Шамиль где?

— Шамиль? Шамиль Казахстане. По шестьсот рублей полуцаит. «Сельэлектро» он.

— Деньги-то шлет?

— Ни-ит, аккардыон купил.

— Не женился еще?

— Шут его знает, осенью армию идет, — машет рукой Халифа. — Ты бы, Давлей, дров наколол, чем пещка топить

будим?

Хозяин не слышит жену, смалит махру.

— Уже Шакирка мала-мала на баяне,— кивает он на голубоглазого, как и отец, восьмилетнего мальчишку. Тот смущенно опускает голову.

— А ну, Шакир, сыграй! Мальчишка еще ниже опускает голову, стесняется представительного соседа.

— Давлей, топить надо пещку, давай дрова...

— Сишас, — отмахивается хозяин.— Давай, Шакир, сыграй нам, которую Мишка учил.

— Давай, Сашка, давай, — подбадривает Кузьмич.

Мальчишка мнетя, тогда отец бесшумно на чуть согнутых ногах подходит к кровати, достает из-под нее потрепанную тальянку. Закинув ногу за ногу и растянув меха, начинает перебирать клавиши.

Кузьмич не знает песни, хотя мелодия знакома. Он сидит задумавшись о своих делах, о жизни, о семье Давлея, который, хотя и поставил новый дом, завел скотину и остался только с тремя детьми, но живет еще не ахти как и вместе с кроватью в комнате держит нары.

«Может, нужны они ему,— думает Кузьмич. Он припомнил, как сидят на нарах уважаемые старики-гости, подогнув калачиком ноги.— А может, не на что купить? Заработчик-то один, хотя мог бы жену хоть на лето устраивать, но ребятня, конечно... Надо подбросить из месткома рублишек двадцать».

Он не замечает, что Давлей играет другую мелодию, перехода не уловил, они все ему кажутся на один лад. А посреди комнаты маленький Шакир с сестренкой-шестиклассницей, скрестив в локтях руки, всюю накручивают плясовую. Оба в белых шерстяных носках, обутые в калоши, топают и крутятся то в одну, то в другую сторону под негромкую песню отца:

— Сия, сия, сия, сия,

Сия тугиль карагыз...

— О чем он поет, Феня? — спросит директор.

— Как вишня цветет...

Не часто заходит Кузьмич к Агаповым, но уж когда застанет старших сыновей, не скоро домой вернется. Весело у них. Один играет не баяне, другой пляшет, а то сразу двое. И мечется по комнате «чечетка», куралесит «карусель», птицей носится «жок». А «цыганочке» нет конца. Тут и миасская, и местная, и цыганская, и настоящая, что по нотам сделана. Хамат играет здорово, недаром во дворце устроился. Все Агаповы от отца и до младшего Шакира любят музыку, любят танцы. А когда соберутся вместе, тут уж кто во что горазд. И не давай Давлею топора в руки, не посылай в это время на работу. Старику не до того, он сам выйдет в круг и спляшет легко, по-молодому. И целый день в агаповском подворье веселье, шум, гам.

«Эй, кто там! Не проходи мимо!.. Веселиться будим, гулять будим, плясать будим, бороться будим!..»

А придет праздник, и того похлеще. Низкорослый Давлей мягкой походкой выходит на середину, а ну-ка, выходи, кто смелый? Любого мужика кинет через себя, будто ему и нет полста. Даже племяш Марат, первый заготзерновский шофер и здоровяк, не может против него выстоять. Из любого положения выкрутится Давлей. Бывало, и в драке резким был, когда где-нибудь на свадьбе в Аджатарово или Сагитово кидал обиженного местного батыра на десять сажень от себя... А сейчас Давлей не в духе.

II

Вроде только вчера Давлей сидел в директорском кабинете, только вчера уговаривал уволить по собственному желанию. Говорил — уходит ка новое место, уезжает далеко-далеко. Не пропадет: Ислям—булку, Батыр—

булку...

Но время, как январский мороз, надвигается неумолимо. Ничем его не оттянешь, не скроешься от него никуда, хотя Давлей тянул долго — мужик терпеливый...

Кузьмич тогда, навалившись животом на стол, долго вертел неровно оторванную, замусоленную бумажку, сопел, перечитывал, а потом взял и черкнул одним махом: «Не возражаю».

И понеслись дни, завертелись, словно мельничные ветряки.

Дня за два до Октябрьской Давлей со старшим сыном Ислямом разделявали быка-двухлетку. Туша большая, целый день провозились с ней. К вечеру посолили шкуру, разрубили мясо, развесили в чулане. Ханифа достала ведерные чугуны. Всю ночь и завтрашний день агаповский двор благоухал запахами варева. С раскаленной добела очажной плиты не успевали снимать чугуны, кастрюли, сковороды. Из-за печи выкатывались бочонки, бидоны с брагой, ее процеживали, переливали из посуды в посуду, выносили в сенки, чтобы до вечера устоялась и остыла. Браги, еды было много, неопытный глаз мог удивиться: какую же надо ораву, чтобы выпить, съесть, перевести все это добро?

Орава нашлась. Из города приехали Хамат с женой. Батыр с невестой и ее родней. С мельницы подкатил брат Давлея — Зиганша, привез семью. Из Аджатарово — брат Халим с Маратом и их семьи, не забыли уважаемые аги из Сагитово, Нарыбаково, Байгазино. И в каждах саях, коробах — ворох краснощеких ребятишек: кареглазых, черных, широкоскулых. Санями забили ограду, сарай, огород. Вокруг топтались низкорослые лохматые кони, нехотя жевали оставленную солому, поглядывали время от времени на поветь, откуда душистое сено, покрытое белой снежной тубетейкой, испускало приятные запахи. Эти запахи напоминали о лете, луговой траве, тепле, летнем приволье.

Имба забита от окон до дверей.

Вдоль и поперек ее — столы. Почетными стариками сказаны последние торжественные слова. Подносили не попеременно двумя или четырьмя стаканами, как раньше, а наливали всем вместе: молодые не признавали дедовских обычаев, когда первыми пили почтенные старцы с клинообразными бородами. В душе старики против, да что поделаешь с молодыми, когда у них огонь в крови, когда ни аллах, ни шайтан им не страшны, когда им не стоит на месте, как норовистым башкирским скакунам.

Выпили раз, выпили два. Над столами аппетитный запах разваренного и жареного мяса. Ешьте, гости дорогие! Пейте, почтеннейшие старики и необузданная молодежь! Ничего не жалко для сына своего, гостей веселых.

— Давлей якши хозяин, ха-ароший хозяин!

— Сагит, вызывай на пляску Аджатар!

И понесло, и закружило, как вьюга уральская, не на один день — на неделю, — сбивая встреченное на пути, увлекая с собой. Кто устоит против стихии!

Все это перед Давлеем проходило розовым сном, было недавним и совершенно далеким. Вот Хамат, его Мишка, встал на табуретку и тянет меха с силой. Со лба, шеи, лица ручьем струится пот, Хамат будто пилит дрова. Крупные пальцы летают невидимыми тенями, стремительные переборы сливаются в аккорды, и снова звенят одиночные голоса. А посреди комнаты, между сдвинутых столов, отбивает «цыганочку» сам жених. На нем темный модный костюм, из-под рукавов пиджака, перехваченного в талии одной пуговицей, выглядывают манжеты белой шелковой рубашки, стянутой у шеи узким галстуком-бабочкой. Легкое движение плечами, и пиджак летит в толпу, а к Батыру присоединяются невеста и брат Шамиль. Невеста хрупкая, совсем молоденькая, разбросала длинные косы, они каруселью плывут по воздуху. Братья, кудрявые красавцы, крепыши, пляшут здорово, долго, стараясь пере-

плясать друг друга, дробят узконосыми ботинками и дико бьют каблуками, аж звенит на столах посуда...

Красивая штука — башкирская свадьба. Веселая. По свежему накату мчатся лохматые кони-звери, и встречный ветер, и снег из-под копыт — в лицо, за пазуху — бьет, сечет, режет. В каждых санях-розвальнях — тальянки, хромки. В каждой кошеве, коробушке — заводила и балагур. Да плывет, да летит дорога — разгоряченная, лихая. А впереди, обгоняя саму дорогу, в резной кошеве мчится с молодыми Давлей на Соколе, первом в районе скакуне.

Кузьмич дал, уважил, в последний раз уважил...

— Смотри, Давлей, придешь назад — не возьму на работу. Хватит людей смешить, хватит на каждую свадьбу увольняться, ведь у тебя целый батальон.

— Пиши, Кузьмич, не приду...

Миновал день, два... десять. Давно съеден бычок и выпита брага вместе с гущей. Разошлись гости, и разъехались старшие дети — гордость уважаемого отца, прихватив остатки праздничной снеди. Давлей наколот много дров, наточил последнюю соседскую пилу — сапоги зимой не закажут, да и какой из конюха сапожник — выкурил последний табак. «Хороший был праздник», — вспоминает он. И еще вспоминает давнишнюю присказку: «Раз сладко ашал — долго помнил».

Это тоже было вчера. А сегодня?

А сегодня кабинет директора со стенными часами в деревянном корпусе. Через его окно видно, как дымят перевозные сушилки, как плотники кроют уже четвертый склад, как племянник Марат бойко крутит баранку трехтонки по обширному двору заготзерно. Видит все это Давлей и виновато смотрит на директора, пыльную шапку мнет...